

ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

*Источник: Воронский "Избранное", из-во "Художественная литература", М. 1976*

Степан мне сказал:

- Комитет поручает вам написать первомайское воззвание.

Недавно были аресты. Я знал, что весь комитет состоит из одного Степана, но в этот момент я верил в могущественный и таинственный орган. Он облакал меня доверием. Не заметил я и того, что мой старший товарищ - человек щуплый, бледный, с реденькими усами и еще более редкой бородой, что напрасно он приглаживает волосы - они и без того лежат скромными, бедными прядями, напоминая измызанную швабру, - и что кремовую рубаху давно пора отдать в стирку, а у ворота пришить пуговицы. Наоборот, если Степан показался мне и не громовержцем, держащим в руках молнии и низводящим грома на землю, то все же человеком властительным, своего рода сверхчеловеком. Я возгордился и почувствовал тягчайшую ответственность.

- Можно, - ответил я наружно равнодушно и отчасти величественно, как будто я только и делал всю жизнь, что писал грозные и обличительные воззвания.

Степан взял со стола студенческую фуражку с околышем, настолько выпцветшим, что он стал почти белого цвета.

- До первого мая осталась неделя. Поторопитесь. Завтра занесите. Вот адрес.

Я возвращался домой в семинарскую коммуны, пренебрегая свежим и поющим в небе апрелем, неомраченным глянцем первой распутившейся зелени, гимназистками, в те дни почему-то, как на подбор, прекрасными. Я готовился писать свое первое произведение. Раньше мне пришлось быть автором двух-трех листовок, но размножались они на гектографе, всего пятьдесят, шестьдесят экземпляров, они говорили о наших школьных нуждах. Теперь листок будет отпечатан на типографском станке, настоящим шрифтом, несколько тысяч, читать его будут повсюду: на фабриках, на заводах, в деревне. Предстояло большое политическое дело. Думается мне и до сих пор, редко какой писатель, приступая к лучшему своему труду, испытывал волнение, жар, торжественность, сомнения, страх, радость, какие испепеляли меня в тот единственный день, когда мне едва минуло девятнадцать лет и комитет дал мне почетное литературное поручение. Не скрою: я не лишен был суетных и честолюбивых мыслей и даже карьеризма. Если мне доверили написать первомайский листок, весьма вероятно, скоро меня введут и в комитет, и тогда я буду заправским профессиональным революционером. С завистью, с преклонением смотрел я на Савича, на Варвару, на Гальперина, на Степана, а приехавший представитель Центрального Комитета, товарищ Сергей, являлся для меня существом четвертого измерения. Теперь и я, месяц тому назад выгнанный из семинарии, близок к отважной и избранной группе людей. Только бы написать, справиться с поручением!

Около коммуны я встретился в воротах с Верой. Вера кончила гимназию.

- Александр, - сказала она, - мы уговорились отправиться на лодке к Трегуляеву монастырю, пробудем там всю ночь. Надеюсь - вы с нами.

Веру я любил в ту весну, как всех гимназисток, даже, пожалуй, больше: она была добра - никогда не отказывалась со мной гулять, ходить по массовкам. Имелись и другие побудительные причины. - В глубине нашей души, - пишет фантаст Гофман, - часто покоятся такие тайны, о которых мы не говорим даже самым близким друзьям, а тем более, - прибавим от себя, - читателям.

- Не надейтесь, - промолвил я на этот раз, промолвил сурово, непререкаемо и заносчиво.

- Боже мой, у вас такой вид, точно вы наследство от дядюшки из Америки получили. Поедемте.

Вера улыбнулась, обнаружив ямочки на щеках, у рта, на подбородке. Силу их она, проказница, превосходно знала. Но и тут я не поддался Верину обаянию.

- У меня дело, - внушительно объяснил я ей и проследовал в дом коммуны.

В коммуны происходил соблазнительный ералаш. В корзины совали бутылки, колбасу, булки, калачи, сыр, сардины. Рычали семинарские басы, спорили о социализации. Лида вытряхивала пепел и угли из самовара. Любвин мрачно поглядывал на Олю, ожесточенно щипал гитару. Гимназист Трошин боролся с Денисовым. Виссарион раньше времени стянул смородинную настойку и в углу опорожнял ее прямо из горлышка, запасаясь силами и бодростью. Меня встретили приветствиями, дружными хлопками. Я отнесся к товарищам по коммуны сдержанно, а когда сказал очень деловито, что на лодке не поеду, ихнему негодованию не было предела. Меня упрекали и в измене, и в гордости, и даже в